

**МИФОГЕННАЯ
ЛЮБОВЬ
КАСТ**

СЕРГЕЙ АНУФРИЕВ
ПАВЕЛ ПЕППЕРШТЕЙН

МИФОГЕННАЯ
ЛЮБОВЬ
КАСТ
I

Издательство
«Альпина нон-фикшн»
Москва, 2022

альпина
ПРОЗА

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2=411.2)6-445.1
А73

Дизайн обложки группа ППСС
В оформлении обложки и форзацев использованы работы
Рината Волигамси

Ануфриев С., Пепперштейн П.

А73 Мифогенная любовь каст : [роман] : В 2 т. / Сергей Ануфриев, Павел Пепперштейн. — М. : Альпина нон-фикшн, 2022.

ISBN 978-5-00139-652-9

Т. 1. — 576 с.

«Мифогенная любовь каст» — один из самых значительных пост-модернистских романов, ставший культовым. Созданная художниками-концептуалистами Павлом Пепперштейном и Сергеем Ануфриевым психоделическая фантазмагория рассматривает советскую историю через призму коллективного бессознательного и погружает нас в параллельную реальность, построенную на русском фольклоре. Роман-галлюцинация, где парторг Дунаев превращается из одного существа в другое, а война с нацистами становится противостоянием фольклорных персонажей и героев авторских сказок.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2=411.2)6-445.1

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00139-652-9

© П. Пепперштейн, 1999
© С. Ануфриев, 1999
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2022

ТОМ ПЕРВЫЙ

Содержание

<i>Часть первая</i>	Востряков и Тарковский.	11
<i>Часть вторая</i>	Ортодоксальная избушка.	47
<i>Глава 1</i>	Немые старшины.	49
<i>Глава 2</i>	Лисонька	55
<i>Глава 3</i>	Болото.	58
<i>Глава 4</i>	Пенек.	62
<i>Глава 5</i>	Развороченный заяц.	65
<i>Глава 6</i>	Мишутка	69
<i>Глава 7</i>	Волчок.	77
<i>Глава 8</i>	Бо-Бо.	82
<i>Глава 9</i>	Священство.	84
<i>Глава 10</i>	Избушка	88
<i>Глава 11</i>	Рассвет	96
<i>Глава 12</i>	Начало пути	105
<i>Глава 13</i>	Муха-Цокотуха	119
<i>Глава 14</i>	Брест	124
<i>Глава 15</i>	Синяя.	131
<i>Глава 16</i>	Возвращение в избушку	134
<i>Глава 17</i>	Смоленск	144
<i>Глава 18</i>	Карлсон.	153
<i>Глава 19</i>	Корреспондент	161
<i>Глава 20</i>	Владимир Красно Солнышко	173
<i>Глава 21</i>	Одесса	192

<i>Глава 22</i>	Скатерть-самобранка	209
<i>Глава 23</i>	Севастополь	241
<i>Глава 24</i>	Фея Убивающего домика	256
<i>Глава 25</i>	Партизанщина	265
<i>Глава 26</i>	На подступах к Москве	279
<i>Глава 27</i>	Сны перед битвой	291
<i>Глава 28</i>	Москва	308
<i>Глава 29</i>	Кащенко	356
<i>Глава 30</i>	Первая победа	371
<i>Глава 31</i>	Сны после битвы	378
<i>Глава 32</i>	Самопоедание и донос	393
<i>Глава 33</i>	Нарезание и новогодняя ночь	400
<i>Глава 34</i>	Ленинград	423
<i>Глава 35</i>	Блокада	437
<i>Глава 36</i>	Пятачок	468
<i>Глава 37</i>	Блок в раю	489
<i>Глава 38</i>	Трофей	500
<i>Глава 39</i>	Карелия	515
<i>Глава 40</i>	Дом	520
<i>Глава 41</i>	Дол	524
<i>Глава 42</i>	Бинокль и монокль	526
<i>Глава 43</i>	Сказки перед сном	557
<i>Глава 44</i>	Сон	572
<i>Глава 45</i>	Дон	573

Непобедимой силой
Привязан я к милой,
 господи, помилуй
 Ее и меня,
 Ее и меня,
 Ее и меня.

Достоевский.
«Братья Карамазовы»

Если бы я была бессмертная, то что бы я делала?
Я издевалась бы над кукушками. Прихожу в лес
и спрашиваю: «Кукушка, кукушка, сколько мне
 годков жить-то осталось?»

Из словоблудия одной девочки

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Востряков
и Тарковский



Конечно, встречаясь на лесных дорогах, они не могли отводить глаза, делать вид, что не замечают друг друга. Им приходилось награждать друг друга неуловимыми, как бы скользящими взглядами, иногда они кивали друг другу или даже обменивались краткими, ничего не значащими словами, которые, впрочем, мало походили на приветствия. Что крылось за этими фразами, произносимыми обычно, как и принято в здешних краях, громким, но лишенным всякого выражения голосом? Скорее всего, нежелание вступать в более продолжительную беседу. Слова, которыми они обменивались, их длина, содержание, сам способ их произношения — все было рассчитано на то, чтобы можно было пройти мимо, не замедляя шага, сохраняя на лице ясное и приветливое выражение, а губы сложив таким образом, чтобы они выражали сдержанную симпатию и как бы обещали вот-вот улыбнуться, но так и не исполняли этого обещания, оставались все так же плотно сомкнутыми. Как только встречный пешеход удалялся на несколько шагов, точнее два пешехода начинали с равной скоростью удаляться друг от друга, это выражение исчезало с их лиц. Не сразу, но постепенно, как медленно гаснет тлеющий окурок, их лица принимали обычное для них, суровое и замкнутое выражение. У одного из них эта замкнутость немного смягчалась молодостью и рассеянностью. У другого, напротив, усугублялась старостью, которая хотя и не воцарилась еще на этом лице, но уже наложила на него печать своего неумолимого приближения.

И в деревне, и в лаборатории все знали, что Тарковский и Востряков не любят друг друга. Непонятно, откуда могло просочиться это знание. Непонятно, на чем основывались эти предположения, переросшие затем в полную уверенность. Тарковский и Востряков никогда не отзывались друг о друге плохо, никогда не ссорились и вообще никогда не разговаривали друг с другом. В лаборатории они никогда не встречались, так как Востряков работал в отдельном сарайчике, который он сам целиком оборудовал и приспособил к своим нуждам. В центральном корпусе шутили, что Востряков создал себе «избушку на курьих ножках», настолько его утлый с виду сарайчик был набит самой что ни на есть современной аппаратурой. Что же касается Тарковского, то он, приходя в лабораторию, поворачивал направо, к главному подъезду, поднимался по скрипучей деревянной лестнице центрального корпуса на второй этаж, проходил несколько шагов по застекленной галерее, затем толкал плечом старую, грубую дверь седьмой комнаты, где размещался его рабочий стол, заваленный незаполненными бланками, папками, помеченными крупным, отчетливым почерком: «Ежедневные измерения», «Данные по наблюдениям за неделю» и так далее.

Так что встречаться они могли только изредка, да и то рано утром, на просеке, когда Тарковский после ночного дежурства возвращался домой, в деревню, а педантичный Востряков — как всегда, точно вовремя — шел ему навстречу, направляясь в свой рабочий сарайчик, чтобы уединиться там на целый день.

И тем не менее возникшая между ними и тщательно скрываемая антипатия была замечена окружающими. Они не знали, чему приписать ее, поэтому предпочитали думать, что это не что иное, как органическая неприязнь, которая охватывает представителей каких-то определенных, несовместимых друг с другом типов людей при первом же, пусть даже самом поверхностном, знакомстве, точно так же как случается, что мгновенно возникает между людьми дружба или даже любовь.

Действительно, они в чем-то составляли полную противоположность друг другу, что выражалось и во внешности их, и в манере одеваться, двигаться, разговаривать. Тарковскому шел двадцать седьмой год. Это был довольно высокий, полный молодой человек, с белокурыми, коротко подстриженными волосами. Когда-то в юности он много занимался спортом, греблей, теннисом, спортивной ходьбой и поэтому с первого взгляда производил впечатление сильного, атлетически сложенного и физически развитого человека. На самом деле это впечатление было обманчивым — с тех пор Тарковский много болел, у него открылся запущенный туберкулез, который с трудом удалось ликвидировать. Он не тренировался много лет, растолстел, стал рыхлым и привык к малоподвижному образу жизни. У него было большое белое лицо с бледными коричневатыми пятнышками, проступающими под тонкой кожей. Глаза у него были светло-серые, спокойные и довольно холодные; редко улыбающийся рот был тонкий и небольшой. Чересчур высокий лоб с родинкой на виске выдавал склонность к раннему облысению — действительно, волосы на макушке уже начали редеть. Тарковский не боялся этого — у него был большой, хорошо сформированный череп. «Его не грех показывать без покрова», — иногда спокойно говорил он своей жене, причесываясь перед зеркалом. Дворянское происхождение Тарковского давало о себе знать в его изящных, плотно прижатых к голове ушах, в его длинных пальцах, многочисленных родинках, покрывавших его лицо и тело. Мать Тарковского в девичестве носила громкую фамилию — она принадлежала к известному и старинному княжескому роду. К чести Тарковского надо сказать, что он никогда не кичился своим знатным происхождением, он даже не думал о нем. Его интересовало другое. С тех пор как он в возрасте девятнадцати лет заболел туберкулезом, главной его страстью стали женщины. До этого он мало интересовался ими; сначала был тихим и сосредоточенным ребенком, увлекавшимся собиранием почтовых марок и монтажом различных сооружений

из продаваемых конструкторов (родители думали, что он станет инженером), потом стал угрюмым и молчаливым спортивным подростком и — наконец — старательным юношей, отдававшим все свои силы учению. Долгое пребывание в больнице, а затем в туберкулезном санатории очень изменило его. Он совершенно охладел к занятиям, кое-как закончил университет и работал младшим научным сотрудником в различных лабораториях. Собственно говоря, может быть, он был просто лаборантом, а ведь когда-то на его способности обращали внимание школьные учителя и университетские преподаватели; теперь же все изменилось. Он никогда не знакомился с женщинами в компании или в гостях; с мужчинами он был чрезвычайно замкнут, и у него почти не было друзей. Обычно он или подходил к понравившейся ему женщине на улице, или заговаривал в очереди, или подсаживался на лавочке в сквере. Он легко начинал разговор, произнося простые, отчетливые и совершенно ясные фразы, в которых не было ничего игривого, ничего остроумного, в которых не было никаких намеков, ничего дерзкого или грубого, но также ничего поэтического или интересного. Ничего, кроме благожелательных, прозрачных, поверхностных словосочетаний. В холодную, ветреную погоду Тарковский, увидев молодую женщину без перчаток, часто подходил и предлагал, спокойно и вежливо, согреть ее руки в своих руках. У него действительно были большие, очень горячие руки с длинными аристократическими пальцами, ногти на которых были всегда тщательно подстрижены. Чаще всего женщины отворачивались или прогоняли Тарковского, но иногда соглашались на это предложение. У Тарковского был вид тихого, интеллигентного человека, внушающего доверие, — собственно, таким он и был на самом деле. Движения его отличались мягкостью и были не то чтобы неловкими, но как бы не совсем точными, они впечатляли своей непреднамеренностью и при этом производили обволакивающее впечатление. Тарковский редко улыбался и почти никогда не смеялся, шутки его были несколько блеклыми и не смешили даже

его самого; тем не менее нельзя сказать, что он совершенно не обладал чувством юмора, просто многое из того, что вызывало смех у других людей, многое из того, что вызывало смех, основанный на глубоко гнездящемся ужасе или на характере существенных двойников, многое, наконец, из той части юмористического, которая основывается на измученном сострадании, многое из этого казалось ему никаким, ни смешным, ни печальным, ни даже скучным, — он свободно и равнодушно скользил сквозь эти области юмора, сквозь шутки и остроумные замечания, если они произносились при нем. Из вежливости он слегка улыбался, а иногда делал вид, что смеется, а иногда и действительно смеялся — в таких случаях он поднимал свое большое белое лицо вверх, внимательно прищурился и слегка заслонял смеющийся рот ладонью, так как немного стеснялся своих неровных мелких зубов. Он был всегда элегантно одет, каждый день менял рубашки светлых оттенков, предпочитал тяжелые вельветовые пиджаки с набивными плечами, которые увеличивали его и без того массивную фигуру. Он носил мягкие свитера из натуральной шерсти с какими-то серыми или коричневыми разводами или перемежающимися черными, белыми и серыми ромбами, носил темно-синие вельветовые джинсы и красивые карманные часы на цепочке — на крышке этих часов был выгравирован еловый лес и два волка, сидящих на поляне, заросшей низкой травой. Женщины любили его; его присутствие производило на них впечатление спокойствия и надежности, однако последнее было скорее всего иллюзией. Тарковский в своих отношениях с женщинами был ровен, мягок, терпелив и ласков. У него были любовницы во всех классах общества, их возраст колебался от семнадцати до тридцати пяти лет. Он никогда не обижался на них, никогда не раздражался, не предъявлял к ним никаких претензий, позволял, сохраняя обычное благожелательное спокойствие, унижать себя или даже издеваться над собой. Он позволял женщинам многое, часто исполнял их самые абсурдные и сумасбродные пожелания. Однажды он по просьбе одной

барышни перелез в ночное время стену зоопарка и забрался в загон с какими-то крупными животными, кажется зубрами. Он старался не принимать от женщин дорогих подарков (это казалось ему непорядочным), но и сам почти ничего не дарил им, а если дарил, то какие-то пустые раковины, тяжелые стеклянные расчески 50-х годов, цветные фотографии экзотических пейзажей или сиамских близнецов, авторучки, имеющие вид игрушечных зонтиков или сигарет, и тому подобные мелочи. Если не считать предметов одежды, которым он уделял некоторое внимание, он проявлял полное равнодушие к вещам, и если они пропадали куда-то или терялись, то он редко замечал их исчезновение. Вообще он был несколько рассеян. Его вторая по счету жена, которую звали Лиза, будучи на четыре года моложе его, сначала очень переживала постоянные измены мужа, но потом привыкла и несколько успокоилась, тем более что Тарковский был к ней неизменно внимателен. Если она плакала и упрекала его в том, что он опять провел ночь у другой женщины, он обычно готовил ей ее любимую еду — салат из мелко накрошенной капусты и моркови с лимоном и ванилью. Свою бывшую жену Катю, бросившую его три года назад и вышедшую замуж за другого человека, Тарковский тоже не забывал, он часто заходил к ним в их небольшую, уютную квартиру в Плетешковском переулке; они сидели втроем, курили сигареты, стряхивая пепел в массивную граненую пепельницу из зеленого стекла.

Новый муж Кати, ровесник Тарковского, был внешне очень похож на него — это отмечали все, кто знал их обоих. Тарковскому иногда казалось, что он сидит рядом со своим родным братом, которого у него на самом деле никогда не было. Правда, муж Кати был несколько ниже ростом и уже в плечах.

Примерно год назад Тарковскому предложили место в лесной лаборатории. И он сам, и его жена Лиза охотно согласились на это предложение, так как им обоим давно хотелось пожить на природе. Им предоставили небольшой отдельный коттедж со всеми удобствами, расположенный среди других

подобных коттеджей в деревне, где жили многочисленные сотрудники лаборатории. Лиза устроилась работать в детский сад, размещенный в той же деревне и предназначенный для детей ученых.

Тарковский дежурил в лаборатории целые сутки, оставаясь там на ночь, и возвращался только к середине следующего дня. Зато потом он три дня бывал свободен: спал, гулял по лесу и много читал. Он любил старокитайскую литературу; толстые книги лежали на его небольшом письменном столе, покрытом гладкой белой бумагой и придвинутом к окну, за которым расстилались заросшие густым кустарником лужайки; сразу за ними начинался густой сосновый лес, где летом было приятно гулять, рассеянно рассматривая осыпанный ягодами кустик брусники, или, точнее, ежевики, или нагретый солнцем малинник; осенью можно было часами бродить в поисках грибов, поскрипывая постепенно наполняющейся корзинкой, а зимой скользить на быстрых лыжах по накатанной, словно бы отполированной лыжне.

Тарковскому нравилось работать в лаборатории, где от него не требовалось почти ничего, кроме аккуратного отбывания положенных ему часов. К тому же там работало много молодых, приятных женщин; Тарковский ухаживал за ними, и нередко в часы ночных дежурств молоденькие лаборантки, дежурившие в соседних корпусах, навещали его, скрашивая ему часы долгого ночного одиночества. Если же никто не приходил, он проводил ночные часы за чтением: Пу Сунлин, «Троецарствие», «Речные заводы», «Песни воина, заблудившегося среди лотосов», «Записки из хижины Великое в Малом», «Развратный монах наслаждается в обители Плывающей Бирюзы», «Чайная, где не видывали золотого» и другие произведения старокитайской классики доставляли ему подлинное наслаждение. Утром он передавал дежурство другому сотруднику, неторопливо собирал свои вещи, укладывал книги в небольшой потертый портфель и пешком, по освещенной утренним солнцем дороге, пускался в обратный путь.

Слова «мир», «свобода», «совокупность», «совокупление» и другие начинали с особой силой жить в его душе, наполняться особенным смыслом; они представлялись ему незакрепленно парящими, предельно открытыми для понимания точками. Именно в этот момент, когда Тарковский после бессонной ночи был, как ему казалось, невероятно мягок и слаб, когда в тишине и шорохе леса, в утренних бликах солнца, пробивающихся сквозь свежую листву и устилающих слегка влажную дорогу ковром теплых, косых, чуть дрожащих светящихся пятен, когда в запахе травы и хвои, в пререканиях птиц, в просветах синего неба он начинал находить источники приятного, ясного забвения, именно тогда впереди, размытый и неясный, распадающийся на кусочки тени и света, появлялся силуэт приближающегося Вострякова.

Вострякову было шестьдесят четыре года. Судьба у него была сложная, он много пережил на своем веку. Родился в рабочей семье, много и упорно учился, стал комсомольцем. Работал на заводе, а потом был переведен на другой завод, работавший на оборону, — это было крупное, засекреченное предприятие. Там Востряков стал комсомольским руководителем и председателем заводского Дома культуры. Он очень много сил отдавал этому Дому культуры, проводил там все свободное время, которое оставалось у него от работы на заводе, где он был учеником и помощником одного известного специалиста по вулканической резине. В Доме культуры он дни и ночи красил декорации для самодеятельных спектаклей, сочинял тексты для раёшников (проявляя в этом определенные литературные способности), сам же читал их со сцены, вызывая аплодисменты в зале. Он даже раздобыл отличный белый рояль, когда-то реквизированный в соседней барской усадьбе. В те времена это был худой, невысокий юноша, которому еще не стукнуло и двадцати лет, — подвижный, серьезный и деятельный. На заводе его все любили, он был на отличном счету у начальства. Вскоре он подал заявление в партию и был принят. Однако

грянула война. Руководство завода получило приказ «ввиду резкого продвижения неприятеля» срочно ликвидировать завод, оборудование и спецперсонал эвакуировать на Урал. Вострякову, как и другим, было больно и тяжело участвовать в ликвидации завода, который создавался почти у него на глазах и в который все они вкладывали столько надежд. Однако особенно мучительной была для него мысль о гибели Дома культуры, который был любимым детищем его самого и его товарищей. В последние часы существования завода он вошел в здание Дома культуры и остановился посреди разоренного зала. Тщательно развешенные плакаты и стенды были сорваны со стен и небрежно брошены на пол; кумачовый плакат, ранее висевший над сценой, на котором собственной рукой Вострякова был старательно выведен лозунг «Искусство — пролетариату, искусство — строителям коммунизма», валялся в углу, смятый и посыпанный кусками отбитой штукатурки; декорации, оставшиеся от недавно прошедшей премьеры спектакля «Аленький цветочек», были разорваны и опрокинуты: на изображении волшебного зачарованного сада, над которым они немало потрудились несколько дней назад, отчетливо виднелись белые известковые следы чьих-то сапог. Все стулья были разбиты и свалены в углу огромной, бесформенной кучей, оцетинившейся торчащими в разные стороны ножками. Какие-то люди, быстро передвигаясь на корточках, протягивали вдоль стен проволоку.

— Отойдите, товарищ, идет минирование, — строго сказал Вострякову незнакомый человек в униформе. Востряков последний раз окинул взглядом зал и заметил, что из знакомых предметов отсутствуют два — белый рояль и гипсовый бюст Сталина. Он вышел из этого помещения, прошел по опустевшим цехам. Всюду работали минеры. Во дворе почти никого не было, все работники завода уже находились в вагонах специального состава, который стоял у платформы особой железнодорожной ветки. Состав должен был отойти через двадцать минут. Востряков ускорил шаги, направился в сторону железной

дороги, но, не доходя платформы, увидел свой белый рояль и стоящий на нем бюст Сталина. Среди потемневшего, как бы насупившегося в предсмертном оцепенении завода, среди гор черной, непонятно откуда взявшейся земли оба этих предмета выделялись светлым пятном, сливаясь в один странный бело-снежный силуэт, издали напомилавший всадника или, скорее, кентавра. Но тут один из рабочих, которые спешно грузили кое-как упакованные остатки оборудования в последний вагон, подбежал, схватил бюст и унес его в сторону поезда.

— А рояль?! — крикнул ему вслед Востряков. — Возьмите рояль!

— Рояль взять никак не сможем, — отозвался за его спиной знакомый голос. — У нас вон станки еле-еле поместились.

Востряков обернулся и увидел председателя партийной организации завода Дунаева. Несмотря на то что Дунаев был лет на двадцать с лишним старше Вострякова и занимал видный общественный пост, они дружили.

С первых своих шагов на заводе Востряков ощущал на себе пристальный и доброжелательный взгляд прищуренных глаз парторга. На первый взгляд парторг выглядел угрюмым, малообщительным человеком — небольшого роста, широкоплечий, с темным задубевшим лицом и густыми клочковатыми бровями, всегда резко сдвинутыми к переносице, он говорил громко и грубо, двигался рывками и, казалось, не обращал ни на кого внимания. Однако за напускной суровостью скрывалась его отзывчивость, готовность всегда прийти на помощь; из-под густых бровей поблескивали внимательные глаза, он вникал во все и, если это было необходимо, мог часами говорить с тем или иным рабочим, помогая ему решить его наиболее важные вопросы, начиная с жилищных или семейных проблем и кончая проблемами самыми общими, касающимися всечеловеческой истории или устройства мироздания. Рабочие чувствовали, что парторг для них — свой человек, что сам он из их братии, и так это и было на самом деле. Его отрывистая речь, пересыпанная сочным рабочим матерком, была

ясна и понятна каждому, и в то же время он был способен немногими простыми словами, непосредственно относящимися к сути дела, объяснить даже достаточно сложные понятия. Востряков пользовался особой симпатией парторга, да и сам он искренне привязался к нему за несколько лет, проведенных на заводе.

И вот теперь Дунаев стоял перед ним, как будто еще более потемневший, с мерцающим огоньком окурка в углу рта, одетый в широкий светлый пыльник: его старая соломенная шляпа была сдвинута набок, в руке он держал портфель.

— Собрался, Сашок? — хмуро спросил он, выпуская дым. — Тебя тут все искали. Небось в Дом культуры ходил, прощался?

Востряков кивнул.

— Ну ладно, пусть поезд отходит, мы их на машине догоним, они еще на Узловой простоят бог знает сколько. — Дунаев взглянул в сторону состава, щелчком пальцев далеко отбросил окурочок папиросы. — Немцы, ебать их в четыре жопы, наступают. Много нужного пришлось оставить, ничего не поделаешь...

Востряков подошел к роялю, погладил его по зеркальной, полированной поверхности, потом тихонько приподнял крышку, взял несколько аккордов.

— Владимир Петрович, неужели рояль пропадет? Дорогой ведь инструмент. Неужели нельзя в школу завезти, пусть там пока постоит, а потом, когда мы вернемся... Ведь мы вернемся, Владимир Петрович? А?

— Вернемся, Саша. Обязательно вернемся, — ответил Дунаев. — Мы еще с тобой здесь такой завод построим!

Внезапно он засмеялся, хлопнул Вострякова по плечу:

— А ладно, что уж с тобой делать, давай грузи свой рояль в грузовик и подкинем его в школу. Туда десять минут езды. А потом прямо на грузовике двинем на Узловую, там наш состав нагоним. Заодно посмотрим, как завод взрывать будут.

Востряков внезапно ощутил прилив сил, как будто, спасая рояль, он спасал и свою уверенность в победе, спасал свою

надежду на будущее, спасал какую-то ценную основу собственной жизни.

С помощью двоих дюжих рабочих они поставили рояль на дощатую платформу небольшого, тряского грузовичка, забрались в кабину и поехали. Дорогой молчали, так как слов все равно не было бы слышно из-за шума, издаваемого мотором, общей тряски и дребезжания. Востряков непрестанно оглядывался, всматривался в заднее овальное окошко кабины — не попортится ли рояль. Инструмент резко мотало на поворотах, несколько раз с гулом, похожим на стон, он сильно ударялся о борта грузовика, видно было, что покрытая лаком поверхность будет в некоторых местах ободрана и поцарапана. Но радость от того, что рояль вообще не погибнет, заглушала опасения Вострякова.

— Ничего, — шептал он. — Покарябается — покрасим.

Дорога полого поднималась на невысокий голый холм, поросший выгоревшей на солнце травой. Отъехав на порядочное расстояние, Дунаев остановил машину, вылез. За ним последовал и Востряков. Завод отсюда был виден как на ладони — корпус цехов, изгибающаяся ветка железной дороги, по которой тянулся, уходя за горизонт, специальный состав.

Востряков вынул из кармана пыльника полевой бинокль и карманные часы. Какое-то время они молча и неподвижно стояли рядом, потом парторг вскользь взглянул на часы и сказал:

— Через две минуты все взлетит на воздух.

Он приставил бинокль к глазам. Две минуты тянулись мучительно долго. Вострякову страшно хотелось отвернуться, но он не мог этого сделать. Наконец, не выдержав застывшего, увязшего времени, когда стало казаться, что эти две минуты будут тянуться вечно и завод не взорвется никогда, он все же отвернулся, и в этот момент невероятной силы взрыв уничтожил завод. Востряков еще успел увидеть оседающие стены и трубу, которая словно бы аккуратно складывалась в никуда. Грохот раздался, как это всегда бывает, с некоторым опозданием. Оглушенные, прижимая руки к голове, они побежали к машине.

...Дунаев вскочил на сиденье, завел мотор, рванул машину. Его темное лицо побледнело, брови еще ближе сошлись на переносице.

— Молодцы минеры! — крикнул он, перекрывая шум мотора. — Хорошо поработали!

Востряков ничего не ответил. Он сидел, вцепившись руками в сиденье, болезненно ощущая в своем теле, издали потрясенном взрывной волной, все толчки и удары, которыми в изобилии награждала их, покрытая колдобинами и ухабами, дорога. Парторг искоса взглянул на него.

— Ничего, парень, сейчас на Урале будем устраиваться, на новом месте. Хорошие там края. Ты небось там никогда не бывал, а я вот...

Они выехали на широкое невспаханное поле. Внезапно Востряков заметил впереди, в том месте, где поле переходило в лес, ряд каких-то темных предметов, которые быстро передвигались им навстречу.

— Владимир Петрович, смотрите, что это там?

Дунаев напряженно всмотрелся вперед.

— Тракторы, что ли?

— Откуда бы им здесь взяться...

Вдруг лицо Дунаева преобразилось, оно приняло выражение крайнего изумления.

— Блядь, это же немецкие танки! — крикнул он, глядя прямо перед собой широко раскрытыми, остановившимися глазами.

Он стал бешено крутить руль, заворачивая машину на полной скорости.

— Осторожно! — крикнул Востряков, однако было уже поздно. Дунаев не учел тяжести рояля и того обстоятельства, что он ничем не был закреплен в кузове. На повороте рояль съехал к борту кузова, надавив на него всей своей массой, машина накренилась, покачнулась и опрокинулась на обочину...

Когда Востряков и Дунаев выбрались из кабины, танки были уже гораздо ближе. Они передвигались, как казалось, с фантастической скоростью. Теперь уже можно было разглядеть

отчетливые черные кресты с белой, обрамляющей их линией, изображенные на серо-зеленой броне. Мимо них по дороге, дребезжа и вихляясь, промчался запыленный грузовик. Люди, сидящие в грузовике, что-то кричали и размахивали руками. Они показывали им жестами, чтобы они догоняли их. Действительно, грузовик начал сбавлять скорость. Они побежали. Потом Вострякову много раз снилось в страшных сновидениях, как он бежит по неровной дороге к этому грузовику, бежит мучительно, с трудом отрывая ноги от земли, увязая в каждом своем движении. Но на самом деле тогда, в реальности, ему бежалось легко, стремительно, ему даже припомнилось на бегу выражение «окрыленные страхом», услышанное в одном из спектаклей или где-то прочитанное, — это был, и правда, своего рода полет. К тому же тогда он был молод, поджар и довольно мускулист. Он быстро приближался, обогнав бегущего почти вровень с ним Дунаева, к спасительному грузовику, схватился за протянутые ему руки, вскочил в кузов и сразу обернулся, чтобы помочь запыхавшемуся парторгу. Его протянутая рука уже почти коснулась руки Дунаева, но тут удар отбросил его немного назад, слева от грузовика в воздух поднялся столб земли и камней. Тут же затарахтели пулеметы. Грузовик рванул с места.

Востряков, свесившись через борт грузовика, пытался поймать протянутую ладонь Дунаева, однако расстояние между ними стало стремительно увеличиваться.

Люди, сидевшие в машине, что-то кричали, размахивали руками, торопили бегущего парторга, но быстрее бежать он уже не мог. Востряков видел, как на его напряженном лице выражение усилия постепенно сменяется проступающим выражением ужаса и отчаяния. Востряков стал судорожно колотить кулаками по железной крыше кабины. «Останови! Останови!» — кричал он. Парторг тоже заорал, причем орал он только одно слово; это было имя Вострякова:

— Саша! Сашенька!

— Владимир Петрович! Владимир Петрович! Я сейчас... — Тут два мужика схватили Вострякова и повалили на дно кузова,

потому что он чуть не спрыгнул с грузовика. Востряков вырывался, орал что-то... Потом он в последний раз услышал далекий, как бы детский голос, зовущий его по имени: «Саша! Саша!» В последний раз увидел уже безнадежно отставшую от них, бегущую фигурку в развевающемся пыльнике, похожую издали на маленькую бумажку, несомую ветром. В следующий момент взметнувшийся на этом месте фонтан земли и пыли заслонил Дунаева навсегда. Востряков ничего уже не мог видеть сквозь слезы, потоком хлынувшие из глаз.

Этот случай очень тяжело повлиял на Вострякова. Потом, когда уже он работал на Урале, его постоянно мучили угрызения совести. Ему казалось, что это он виноват в гибели парторга. Он даже пришел в партийную организацию и заявил, что он, Востряков, «убил Дунаева» и поэтому должен быть арестован. Ему не поверили, тем более что нашлись и другие свидетели гибели Дунаева — люди, сидевшие в грузовике, один из которых был рабочим с этого же завода. Потом Востряков много раз просился на фронт, но и это не получилось — ему сказали, что здесь он нужнее, что он ценный специалист и его труд будет полезнее, чем его непосредственное участие в военных действиях с оружием в руках. «Ваш фронт — здесь», — сказали ему. Востряков остался на заводе и много, упорно работал. Жизнь была трудная, еды не хватало, тем более что Востряков все время делился своим пайком с той семьей, в доме которой его поселили. Однако трудности не пугали Вострякова, наоборот, они отвлекали его от тягостных раздумий, от болезненных внутренних ощущений. Характер его очень изменился. Он сделался мрачен, замкнут. Если раньше у него было много друзей, то теперь он ни с кем не общался. Сидя в компании знакомых, отмалчивался, глядел в пол и поскорее уходил к себе. Многие из тех, кто знал его раньше, ожидали, что на новом месте Востряков восстановит Дом культуры, снова будет вести активную общественную и культурно-просветительскую работу в комсомольской организации. Однако они ошиблись: Востряков заниматься этим

категорически отказался. Все эти самодеятельные спектакли, вечера поэзии, кружки танцев, агитационные раёшники, которым он отдавал раньше столько сил и энергии, — все это теперь было ему отвратительно. Вскоре после окончания войны Вострякова арестовали. Сначала он попал в лагерь, где ему пришлось, как и другим, очень трудно. Какой-то уголовник даже попытался убить Вострякова, чем-то навлекшего на себя его гнев. От этого случая на шее у Вострякова остался шрам от ножа. Востряков сохранил свою жизнь по чистой случайности, да и то только потому, что уголовник был еще очень молод и неопытен: более опытный убийца, конечно, не оставил бы Вострякова в живых, полоснув его ножом по горлу. Однако в лагере он пробыл очень недолго. Скоро его перевели в закрытый научно-исследовательский институт, где работали заключенные, в так называемую «шарашку». На этой «шарашке» он проработал четыре года, познакомился там со многими учеными, увлекся исследовательской работой и, выйдя потом на свободу в 1955 году, продолжал заниматься наукой. Вместе с профессором Ромадиным и его помощником доцентом Пленом он принимал участие в основании Лесной лаборатории, выбирал место для ее постройки; сам, в числе других ученых, наблюдал за строительством. Защитил кандидатскую, а после и докторскую диссертацию. Однако выше по лестнице научных степеней, званий и должностей он не поднялся, оставив, в общем-то неоправданными те большие надежды, которые возлагали на него его старшие товарищи — ученые, особенно его учитель и давний друг Антон Юрьевич Плен, скончавшийся в 1963 году в звании члена-корреспондента Академии наук, удостоенный многих почетных наград за свою научную работу.

Незадолго до своей смерти академик Плен написал Вострякову письмо, в котором были такие строки:

...В нашем деле необходимы не только талант, интуиция, не только содержательное предвосхищение, не только доскональное знание дела и фундаментальное

изучение всех более ранних стадий развития данной темы, всех предшествующих разработок, которые на сегодняшний взгляд могут показаться иногда даже несколько наивными, но и сознательное, а не стихийное, упорство, «мертвая хватка», способность к поистине атлетическому напряжению.

Для этого нужно обладать физической силой, выносливостью; поэтому я всегда такое внимание уделял физическим упражнениям, закаливанию, спорту. Думаю, Вы хорошо помните, как я окунался с головой в проруби на нашей речке близ лаборатории, в тридцатиградусный мороз. Помните, как я каждое утро бегал по лесным дорогам, играл в настольный теннис? Именно занятия спортом, выдержка и требовательность к себе, доходившая порой до жестокости, но никогда не переходившая границы разумного, а также соблюдение диеты позволили мне дожить до преклонного возраста, не потеряв рабочей формы, и сделать то, что я сделал.

Саша, я пишу это, конечно, не ради самовосхваления, а для того, чтобы обратить Ваше внимание на вещи, которые лишь на поверхностный взгляд могут казаться незначительными, а на деле же именно они, узловые компоненты, составляющие технику житейского осуществления, и являются важнейшим, центральным инструментом нашей работы. Пренебрегать ими по меньшей мере бессмысленно.

У Вас есть все данные для того, чтобы реализовать свои способности, стать выдающимся ученым. Поэтому обратите внимание на мои слова. Высылаю Вам несколько переведенных мной работ по диетологии, вышедших на английском языке, а также отрывки из книги «Чтобы жить вечно», которые я сам выписал и перевел для Вас. Вы знаете, как я к Вам всегда относился. Сохраняю это отношение и по сей день.

Ваш А. Ю. Плен

Востряков получил это письмо в разгар своей очередной депрессии. Он мог только подивиться пронизательности своего учителя, каким-то образом угадавшего или почувствовавшего упадок его сил, общую подавленность и некоторое затухание интереса к работе. Сам Плен был к тому времени уже очень стар и постоянно жил в Москве, редко навещаясь в Лесную лабораторию. После отъезда Плена в Москву на роль его преемника на посту заведующего лабораторией одно время прочили Вострякова, но поскольку тот не проявил достаточной для этого активности и не предпринял тех многочисленных усилий, которые необходимо было предпринять, место это занял другой человек, впрочем вполне достойный, серьезный ученый, пользовавшийся уважением и самого Вострякова, и других сотрудников. Для Вострякова же это время стало временем особенно сильного возрождения его старых мучений, связанных с гибелью парторга Дунаева. Никто об этом не знал, сам Востряков ни с кем не говорил на эту тему, но жившее в его душе убеждение, что он является убийцей парторга, не только не погасло со временем, но, наоборот, еще более укрепилось.

Особенно мучили его сны. В семье, где родился Востряков, склонность к постоянным и очень ярким сновидениям передавалась из рода в род по материнской линии. Его бабушка, которую он хорошо помнил, — простая, темная крестьянка, которая так и не смогла до конца привыкнуть к городской жизни, — рассказывала, что во сне она встречалась с монахами, святыми, генералами и людьми из других, очень далеких стран. Она утверждала, что в 1914 году предсказала начало войны. Тогда ей приснился человек в простом военном мундире, в железной каске, с усами. Он встал перед ней на колени и попросил у нее благословения. «Кто ты такой? — спросила она. — И почему ты просишь благословения у женщины?» «Я император Германии, — ответил тот, — и прошу благословения потому, что собираюсь причаститься крови святой Руси». Тогда она, во сне, сняла с себя свой нательный крестик и дала ему поцеловать его.